

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ. Повесть времен Иоанна Грозного Соч. гр. А. К. Толстого. 2 тома. С.–Петербург. 1863 г.

Византийское это сочинение составляет как по внешней своей форме, так и по внутреннему содержанию, явление столь отличное в кругу современных литературных произведений, что редакция не нашла, в числе своих постоянных сотрудников, ни одного, который взялся бы написать на него рецензию. Между тем сочинение произвело в публике некоторое впечатление, так что игнорирование его могло бы быть сочтено за злонамеренность. Поэтому редакция вынуждена была обратиться за помощью к одному отставному учителю, некогда преподававшему российскую словесность в одном из кадетских корпусов. К сожалению, почтенный педагог, столь обязательно принявший наше предложение, не мог выполнить его до конца: ужасный паралич преждевременно прекратил дни его в самом начале труда. Тем не менее мы печатаем его рецензию так, как она нам доставлена, и думаем, что и в этом виде она могла бы служить украшением любой книжки «Северных цветов», точно так же как сам «Князь Серебряный» был бы весьма приятным явлением в «Аонидах».

352

Я помолодел; читаю и не верю глазам. Любезный граф! волшебную вашу кисть вы окунули в живую воду фантазии и заставили меня, старика, присутствовать при «делах давно минувших дней», исполать вам! Но еще больше вам исполать за то, что вы воскресили для меня мою юность, напомнили мне появление «Юрия Милославского», «Рославлева», напомнили первые попытки робкого еще тогда Ложечникова. Это было

счастливое время, любезный граф; это было время, когда писатели умели

Истину царям с улыбкой говорить...

Когда всякий, не скрывая своего сердца, заявлял о чувствах преданности (да и зачем это скрывать?)... Но, конечно, никто еще не высказывал такой истины, какую вы высказали Иоанну Грозному! Да, вы воскресили для меня доброе, старое время, которое я считал давно погибшим! Но довольно о себе.

Внешнее построение романа графа А. К. Толстого вполне соответствует правилам, на предмет составления таковых упражнений преподаанным. В нем имеется завязка (и даже, как увидим ниже, не одна, а несколько завязок, что делает интерес романа почти нестерпимым), из которой действие развивается, постепенно возвышаясь, покуда, наконец, не достигает своего зенита; по достижении сего действие развивается уже понижаясь и незаметно утопает в развязке. Многие нынешние писатели правилами сими пренебрегают, думая, что завязка и развязка не составляют еще существенного условия литературного упражнения, но доказать неосновательность подобного воззрения очень нетрудно: стоит только вспомнить о том, что всякая вещь имеет свое начало и свой конец. Нынешние писатели думают, что обязанность их заключается лишь в том, чтобы поставить героев своих в критическое положение, и что, по исполнении сего, можно их бросить. «Сказав это, они вздохнули и разошлись» — вот фраза, которою модные современные повествователи позволяют себе заканчивать незрелые свои произведения. Но читатель любопытен; он хочет знать, куда разошлись герои, куда пошел *он*, куда направила путь *она*; что они делали, что в тот день обедали, сколько времени жили и как умерли. Все это графом Толстым исполнено. Исполнено им и другое

требование теории, касающееся характеров действующих лиц. В сем отношении теория неумолима; она требует, чтобы действующие лица имели характеры разнообразные, и даже указывает, какие должны быть эти характеры. Впереди всех, разумеется, идет герой; герой должен быть из хорошего семейства; благороден, но тверд, чувствителен, но не лишен рассудка, правдив, но не без

353

надежды, что автор, в сомнительном случае, найдет возможность вытащить его из беды, великодушен до безрассудства, но зная, что великодушные поступки никогда не пропадают даром; сверх сего, не худо, если герой человек с деньгами. Героинею может быть всякая хорошая женщина, которой наружность представляет в себе что-либо для мужчины привлекательное; нужно только, чтобы она была: или мужнею женою (это необходимо для завязки), или же хотя и девицею, но не одинакового с героем звания или состояния (это также необходимо для той же надобности). Засим, лица, окружающие героя и героиню, должны разделяться на друзей и врагов. Друзья могут быть следующих сортов: а) добродушный, веселый и верный (обыкновенно слуга); б) друг глупый, но тоже веселый (также из низшего звания); в) друг заблудшийся, но верный и умный (тоже из низшего звания, обыкновенно разбойник) и, наконец, г) друг из высшего звания. Враги могут быть трех сортов: а) враг честный, но неумышленно обиженный (обыкновенно муж героини или крестовый ее брат), б) враг жестокий, враждующий, сам не зная почему, и в) враг коварный. Затем следуют князие мира воздушного, их угодники, юродивые и колдуны, в отношении которых оставляется авторам полная свобода

действия, с тем, однако ж, ограничением, чтобы и сии лица непременно являли силу характера. Это второе требование теории также графом А. К. Толстым соблюдено, равно как и третье относительно слога. Слог этот можно назвать жемчужным (*style perlé*). Одно лишь условие (четвертое) не соблюдено любезным сочинителем: обычай требовал, чтобы роман был разделен на четыре части, а не на две, как это сделано в настоящем случае; но и этому читатель легко может помочь, умственно разделив каждую часть на две половины.

Что же касается до внутреннего содержания романа, до его основной идеи, то, кажется, я не ошибусь, если отыщу оную в следующих заключительных словах 9-й главы части 1-й. «Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косячатое, смотрят светлые притуманившись, — притуманившись, будто думая: ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщины!»

Надо сознаться, что в государстве, в коем еще недавно существовали так называемые «Редакционные комиссии», высказать подобную мысль есть дело довольно смелое... Умолкаю, дабы не навлечь автору неприятности.

Но довольно об общих чертах романа; буду разбирать по главам, как дельвалось в наше доброе, старое время и как невозможно делать нынче, ибо нынешние литературные упражнения нельзя понимать иначе, как прочитавши все главы в совокупности. Разобравши сочинение по главам, приступлю к разбору характеров

действующих лиц.

Первая глава начинается тем, что к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы, подъезжает двадцатипятилетний князь Никита Романович Серебряный, возвращающийся из Литвы, куда он был послан царем Иваном Васильевичем для подписания мира. Удачное начало! Героя своего талантливый граф описывает простодушным, вспыльчивым, правдивым и имеющим соответственную сим качествам наружность. Наружность сия простосердечна и откровенна; роста он среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Вообще, описание сие можно бы назвать мастерским, если бы не вкралась в оное некоторая непоследовательность, а именно, на стр. 12-й есть указание на некоторую косую складку, находившуюся между бровями и означающую, по мнению автора (весьма остроумному), беспорядочность и непоследовательность в мыслях, и вслед за тем говорится, что рот героя выражал ничем непоколебимую твердость. Из этого выходит, что рот в соединении с складкою выражал твердость непоследовательную и беспорядочную, или же твердую беспорядочность, что, всеконечно, не входило в расчеты деписателя; но зато все прочее в сей главе превосходно. Князь возвращается на родину, не зная, что царь Иван Васильевич, в отсутствие его, испортил свое поведение и завел опричнину. Об этом он узнает от поселян деревни Медведевки, и вслед же за сим неожиданным образом знакомится и с самими опричниками.

Известно всякому, сколь пагубно было для России сие заведение... Но между тем, как князь добродушно присутствует при забавах поселян, вбегает окровавленный двенадцатилетний мальчик, и вслед за ним врываются опричники под предводительством Хомяка, стремянного Григория Лукьяновича Скуратова—

Бельского. Неистовства, которые производят опричники, описаны весьма естественно и в совершенстве напоминают изображаемые обличительной литературой наезды земской полиции. Само собой разумеется, что благодушный князь принимает сторону угнетенных и с помощью своих людей не только посрамляет опричников, но и освобождает от них еще двоих полоненных ими неизвестных людей. Сначала, следуя лишь внушениям своего благородного характера, князь намеревается перевешать опричников, но потом, однако ж, уступает резонам неизвестных людей и ограничивает кару

355

тем, что допускает своего стремянного Михеича «влепить опричникам по полсотенке нагайками». Сцена эта исполнена истинно национального юмора; в ней чрезвычайно тонко выражен простодушный взгляд русского человека на нагайки, которые, пройдя сквозь горнило народного представления, утрачивают истязательный свой характер и представляются уму беспристрастного наблюдателя лишь простым и незлобивым времяпровождением. Здесь кончается эта замечательная глава, которая с тем вместе составляет и завязку романа. В самом деле, не влепи Михеич опричникам по полсотенке, и романа бы не было! Слог в этой главе представляет смесь высокого (sublime) с низким (burlesque), смотря по тому, кто говорит и о чем идет речь.

Во второй главе князь едет к Москве, сопровождаемый стремянным Михеичем и двумя спасенными незнакомцами. Едут лесом, и один из незнакомых затягивает песню; эта песня наводит автора на размышления о русской песне вообще, поражающие тою

самою оригинальностью, которая извлекает из учителя российской словесности полный балл в пользу отличившегося ею ученика. Вдруг раздается подозрительный свист, и путешественников окружают станичники (разбойники); очевидно, что князю предстоит опасность, но не бойся, читатель, его не убьют! И в самом деле, открывается, что спасенные незнакомцы суть тоже разбойники, и даже один из них, Ванюха Перстень, оказывается атаманом. Дело объясняется само собой, и путники благополучно приезжают на мельницу, в которой обитает колдун—мельник. Спасенные незнакомцы возвращаются восвояси, а князь с Михеичем остаются ночевать на мельнице и вскоре засыпают. И в этой главе слог представляет смесь высокого с низким, но более преобладает низкий элемент, ибо действуют преимущественно простолюдины.

В третьей главе мы знакомимся с князем Афанасьем Ивановичем Вяземским, одним из опричников Грозного. Он приехал к мельнику, чтобы воспользоваться его наукой и приворожить к себе ту, которую он любил.

До чего может довести любовь человека самого безнравственного и до какой высоты может дойти слог уже сам по себе высокий, это явствует из следующей речи кн. Вяземского.

— Колдун, — продолжал князь, смягчая свой голос, — помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал целые ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все

рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалуется царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может извести меня!

Князь требует от мельника такой травы, чтобы «молодушка полюбила постылого», или же такой, чтобы свою любовь перемочь, но мельник отзывается, что он таких трав не знает, а знает: колюку-траву, тирлич-траву, плакун-траву, адамову голову, голубец болотный, ревенку-траву, кочадыжник, Иван-да-Марью, разрыв-траву. Однако свойства сих трав не таковы, чтобы потушить пожар, пламенеющий в груди свирепого князя, и потому он начинает трясти мельника за ворот. Эта сцена дышит такою правдою, что я не смею не привести ее целиком.

— Старик! — вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, — подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

— Сжался надо мной! — зарыдал он, — излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду в кабалу к тебе!

Сжался надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

— Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись! Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излечишь!

— Князь! князь! — сказал дрожащим голосом мельник, — пора за дело. Время уходит, вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

— Начинай, — сказал он, — я готов.

Как хотите, а такой быстрый переход от трясения за ворот к валянию в ногах положительно доказывает, что автор добросовестно изучил науку словосочинения, которою подобные внезапные переходы не только не возбраняются, но даже поощряются, вопреки притязаниям другой науки, называемой психологиєю (известно, что в наших средних учебных заведениях науки, преподаваемые различными учителями, постоянно состоят во взаимной друг с другом вражде).

Затем мельник начинает колдовать и заставляет князя смотреть под колесо. Князь смотрит и видит будущую судьбу свою, то есть свою собственную казнь, но это его интересует мало; он хочет знать — такова уже сила любви! — любит ли

357

она другого. С этою целью он опять смотрит под колесо и, разумеется, видит *ее* не одну, а с русым молодцом в кармазинном кафтане. «Анафема! — восклицает он, — они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!»

Разумеется, бросает мельнику горсть денег, вскакивает

в седло и уезжает.

Это — вторая завязка романа. Читатель предчувствует героиню и знает, что есть некоторый русский молодец в кармазинном кафтане. Сказать ли более? кажется, что читатель начинает даже подозревать, что русский молодец в кармазинном кафтане есть не кто иной, как сам князь Серебряный.

Глава сия написана языком правильным и вообще ведена старательно. Но возникает вопрос: верит ли любезный граф в колдовство мельника или не верит? Если принять в соображение состояние отечественного просвещения, то, конечно, надо будет дать ответ отрицательный; если же принять в соображение, что, невзирая на просвещение, в природе все-таки скрывается много таинственного и что нельзя же предположить, чтобы князь Вяземский мог столь верно усмотреть ожидающую его участь, если б она не была ему показана в воде искусным мельником, то ответ будет едва ли не положительный.

Главы 4, 5 и 6-ю следует разбирать в совокупности. Они застают нас сначала в саду, а потом в доме боярина Дружины Андреевича Морозова, к которому приезжает князь Серебряный с грамотою от князя Пронского. В саду боярыня Елена утешается с сенными девушками, в доме сидит старый боярин Дружина Андреевич и соболезнует о том, что находится под опалой и не видит светлых очей царских, за то, что на царском пире не захотел уступить свое место Годунову. Замечательная черта боярского самолюбия, подмеченная еще Карамзиным. Боярин и боярыня живут, как брат с сестрой, ибо Дружина Андреевич, по преклонности своих лет, иначе и жить уж не может, — это третья завязка романа. Является князь Серебряный и, еще не войдя в дом к Морозовым, через частокол видит в саду боярыню Елену, видит и не верит

глазам своим. Прозорливость читателя оказывается вознагражденною: русский молодец в кармазинном кафтане есть именно князь Серебряный, а боярыня Елена есть именно та самая боярыня Елена, которая до замужества еще любила Серебряного, но впоследствии, чтобы избавиться от преследования князя Вяземского, вынуждена была выйти замуж за Морозова. Сцена свидания через частокол написана рукою искусного мастера. Сначала князь негодует и даже «не хочет тратить понапрасну речей», но под конец дело все-таки приходит

358

к тому, что «они бросились друг к другу, и уста их соединились»... Чтобы достигнуть этого, не поломав разделяющий их частокол, князь поднимается на стременах, а боярыня становится на скамью. Опять дивный переход от негодования к нежности, после которого герой романа уже отправляется к Морозову в дом. Там они беседуют об опричниках, о перемене, происшедшей в характере царя Ивана Васильевича, и рядом логических умозаключений приходят к мысли, что все сие происходит по воле божией, карающей россиян для очищения от грехов.

Сия политическая теория столь достопримечательна, что нахожу не излишним на ней остановиться.

Если народ погрязает в грехах и через то оскорбляет промысл, то какой наилучший способ имеет сей последний, чтобы напомнить о себе и заставить народ восчувствовать? Тяжело сознаться, но совершенно достоверно, что наилучшими в сем случае орудиями всегда почитались вожди народные. Посредством их промысл еще древле наказывал Израиля, да и в новейшее время, по свидетельству П. И. Мельникова, Розенгейма и

других опытных обличителей, продолжает следовать той же системе. Так, например, если град начнет утопать в роскоши и богатстве, то промысл посылает в оный градоначальника, который вскорости доказывает гражданам, что существенными интересами человеческой жизни должны быть не столько земные интересы, сколько небесные. Что целые страны таким способом очищаются от грехов, в этом не может быть никакого сомнения, однако ж нельзя не сознаться, что и в этой теории имеется своя слабая сторона. Она заключается в том, что теория сия с преувеличенною, как мне кажется, строгостью относится к самым орудиям, посредством которых производится очищение от грехов. Положим, что народ, погрязший в грехах, не мешает по временам очищать, но чем же виноваты правители, кои, будучи сами по себе людьми невинными, именно для этой цели наделяются самыми зверскими качествами и через это погубляют свои души и впоследствии наследуют геенну огненную? Народ поражается казнью временною, правители — казнью вечною: неравенство перед законом очевидное. Не наказывать же правителей тоже невозможно, ибо в таком случае всякий охотнее предпочтет ремесло правителя ремеслу управляемого (это и бывает в эпохи затмения человеческого разума, называемые революциями, когда человек лезет на высоту, совершенно забывая, что за сие положена геенна огненная). И потому, дабы устранить всякие сомнения в столь важном деле, я полагал бы возможным, чтобы промысл в таких случаях употреблял орудиями

не действительных людей, а, так сказать, подобия их, или, лучше сказать, такие сомнительные существа, которые

имели бы наружный человеческий облик, но внутреннего человеческого естества не имели бы. Думаю, что сочетание фотографии, метахромотипии и гальванопластики может легко привести к составлению такого рода людей.

Но довольно с проектами, возвращусь к роману. Побеседовавши довольно, боярин заставляет князя обедать, за обедом подают разного рода студень, кулебяки, жаркие, похлебки и буженину. Жаль, что любезный сочинитель подробнее не распространился об этом предмете, но этот недостаток он восполняет далее, при описании царского стола. После обеда Морозов наливает себе и князю малвазии и, откинув назад свои опальные волосы, произносит:

«— Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!

— Просвети его бог! Открой ему очи! — отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились».

Сия политическая теория также весьма достопримечательна, но я не считаю долгом распространяться о ней, потому что сущность ее по прямой линии выходит из той же теории очищения грехов, о которой говорено мною выше. Не могу, однако ж, не сказать, что в этой теории замечается четвертая завязка романа; не будь ее, князь Серебряный не поехал бы в Александрову слободу и не было бы пятой завязки романа. Пятая завязка происходит в Александровой слободе и занимает главы: 7, 8 и 9-ю. Князь Серебряный прибыл туда благополучно. Следует великолепное описание слободы и дворца царского. Въехавши во двор, князь Серебряный видит оживленную сцену опричников, играющих в *зернь* и в свайку, но картина сия едва не кончилась для него печально, так как опричники, немедленно возненавидев Серебряного, чуть-чуть не

затравили его медведем. Избавленный благополучно от этой опасности, в самую критическую для себя минуту, сыном злейшего из всех опричников, Малюты Скуратова (шестая завязка романа), князь находится теперь в раздумье, знает ли царь Иван Васильевич о том, что он вlepил его опричникам по полсотенке, или не знает (седьмая завязка романа). Но покуда он размышляет, к нему подходит стольник и приглашает к царскому столу. Описание царского стола составляет верх совершенства. Читая, я не верил глазам своим и даже чувствовал невольный голод. Надеюсь, что и читатель испытает то же ощущение, я не могу воздержаться, чтобы не привести здесь несколько отрывков из этого описания.

360

В огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом, государю высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четверугольный стол, с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары

сердоликовые и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки, странного вида, представлявшие медведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Далее:

Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухую подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерек с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Еще далее:

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в слободу из Соловецкого

монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказывалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змиев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот по знаку стольников убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда

361

была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых, вместо плодов, висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волжских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки ромanei, более из приличия, чем от

жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Признаюсь, я не утерпел, чтоб не показать это описание своему коллеге, учителю латинского языка, который имеет весьма основательные сведения о том объядении, которому в древности предавались римляне. Но и он пришел в восторг и наотрез мне сказал, что римляне никогда ничего подобного не едали.

Нечто подобное обжорному московскому великолепию видим мы лишь в древнем Карфагене, как о том свидетельствует французский писатель Густав Флобер, издавший в прошлом году знаменитый роман «Salammbô».

Содержание сих романов («Кн. Серебряного» и «Salammbô») во многом до такой степени сходствует, что нелишне было бы провести между ними некоторую параллель, дабы видеть, что и кто у кого предвосхитил.

Место действия «Кн. Серебряного» происходит в древней Москве; место действия «Salammbô» происходит в древнем Карфагене. По-видимому, тут сходства нет, но это лишь по-видимому, и это-то именно я берусь дока...

(На этом месте рукопись прервана несчастною смертью рецензента.)